

Уильям Мейкпис Теккерей В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

ГЛАВА I

В то примечательное время, когда Людовик XVIII был вторично возведен на трон своих отцов и все англичане, располагавшие деньгами и досугом, ринулись на континент, в Брюсселе проживала в пансионе благородная молодая вдова, носившая изысканное имя: миссис Уэлсли Макарти.

Вместе с вдовой, в том же доме и в одних с нею комнатах, жила ее маменька — дама, именовавшаяся миссис Крэб. Обе держались дамами общества. Крэбы были из очень старой английской семьи, а Макарти, как известно всему свету, принадлежали к древнему дворянству графства Корк и состояли в родстве с Шини, Финниганами, Кленси и другими знатными семействами Ирландии, соседствовавшими с ними. Но поручик Уэлсли Мак, не имея за душой ни шиллинга, сманил девицу Крэб, располагавшую таким же точно состоянием; и, прожив шесть месяцев в браке со своей супругой, 18 июня 1815 года был внезапно унесен болезнью, весьма распространенной в ту славную пору артиллерийской смертоносной лихорадкой. Он и

еще много сот молодых ребят из его полка, Волонтеров Клонакилти, были в тот день захвачены этой эпидемией на некоем поле милях в десяти от Брюсселя и погибли на месте. Супруга поручика сопровождала его на континент и месяцев через пять после его смерти разрешилась от бремени двумя прелестными младенцами женского пола. К тому времени миссис Уэлсли успела помириться со своею маменькой: у миссис Крэб не было других детей, кроме ее беглой Джулианы, и, едва услышав о бедственном положении дочки, мать полетела к ней. Да и то сказать, было самое время, чтобы кто-нибудь приспел на помощь молодой вдове: поскольку муж не оставил ей никаких денег, ни денежных документов, кроме стопки счетов от портных и сапожников, аккуратно сложенных в его письменном столе, бедной миссис Уэлсли впору было умереть с голоду, если никто ей не окажет дружеской поддержки.

Итак, миссис Крэб отправилась к дочери, которой Шини, Финниганы и Кленси в согласном презрении отказались чем-либо помочь. Дело в том, что мистер Крэб служил когда-то дворецким у владетельного лорда, а его супруга горничной; и после смерти Крэба миссис Крэб продала дилижансовую контору с харчевней под вывеской «Баран», на которых ее покойный муж сколотил капиталец, и с тремя тысячами фунтов за душой

безбедно жила в небольшом городке на благородный манер, когда поручик Макарти пришел, увидел и сманил Джулиану. Для великих Кленси или Финниганов было немислимо признать такое родство, и снова вдове Крэба пришлось делить с дочерью свой скромный доход сто двадцать фунтов годовых.

В брюссельском пансионе они умудрялись вполне прилично жить на это вдвоем и слыть почтенными дамами. Близнецов, как это принято за границей, отдали кормилице в ближнюю деревню, потому что миссис Макарти была слишком слаба, чтобы кормить их грудью; а расщедриться на такую роскошь, как домашняя кормилица, миссис Крэб просто не могла.

Между матерью и дочерью в пору ее девичества шли непрестанные ссоры и раздоры; и, сказать по правде, миссис Крэб ничуть не огорчилась, когда ее Джули сбежала с поручиком, — ибо старая дама умильно млела перед любым джентльменом, и ей было очень лестно называться матерью миссис Макарти, офицерской жены. Зачем вообще понадобилось поручику сманивать свою невесту, когда ему бы с радостью отдали ее и так, — не наша забота; и мы не станем поднимать старые истории и деревенские сплетни, уверявшие, что не поручик сманил девицу,

а девица сманила его, — поскольку ни автора, ни читателя это отнюдь не касается.

Итак, помирившись, мать и дочь снова стали жить вдвоем, теперь уже в Брюсселе. За год безутешное горе миссис Макарти заметно смягчилось; и при своей прирожденной великой любви к нарядам, довольно красивая и с недурной фигурой, она без сожаленья отбросила траур и стала появляться, одетая всегда к лицу и обновляя туалеты так часто, как только позволяли ее средства и изобретательность. В самом деле, принимая во внимание, как были скромны средства, все со всех сторон твердили, что миссис Крэб и ее дочь поразительно умеют соблюсти достоинство — то есть умудряются иметь такой респектабельный вид, как будто получают они, по крайней мере, пятьсот фунтов в год; и в церкви, и в гостях на чашке чая, и на улице выглядеть, что называется, благородными дамами. Если дома они недоедали, этого никто не видел; если крохоборничали, этого никто (хотелось бы надеяться) не знал; если хвастались насчет своей родни и родовых имений, кто мог уличить их во лжи? Так они жили, отчаянно стараясь удержаться хотя бы на самом краю благородного круга. Миссис Крэб, женщина с пониманием, относилась вполне почтительно к более высокому рангу дочери; а миссис Макарти не так часто, как прежде,

ссорилась с маменькой, от которой целиком зависела вместе с двумя своими детьми.

Так обстояло дело, когда случилось одному молодому англичанину, Джеймсу Ганну, эсквайру, — из крупной торговой компании по поставке гарного масла «Ганн, Блаббери и Ганн» (как он спешил вас уведомить, едва вы провели хотя бы час в его обществе), — случилось, говорю я, этому самому Джеймсу Ганну, эсквайру, приехать на месяц в Брюссель с целью усовершенствования во французском языке; и на время пребывания в бельгийской столице он поселился в том самом пансионе, где жили миссис Крэб и ее дочь. Ганн был молод, слабоволен и легко воспламенялся; он увидел миссис Макарти и пал к ее ногам; и она, в те дни почти помолвленная с полковым лекарем-шотландцем, старым толстяком на деревянной ноге, безжалостно дала отставку доктору Мак-Линту и стала принимать ухаживания мистера Ганна. Как молодой человек уладил вопрос со старшим компаньоном, своим отцом, я не знаю; но известно, что была ссора, а затем примирение; и еще известно, что Джеймс Ганн дрался с лекарем на дуэли, приняв на себя огонь эскулапа и послав свою пулю в лазурь небес. В позднейшие годы мистер Ганн рассказывал о сей исторической битве не менее, как девять тысяч раз; это позволило ему пронести через всю свою жизнь славу храбреца и

снискать, как утверждал он с гордостью, руку своей Джулианы, что, пожалуй, было довольно сомнительным благом.

Но одну часть истории честный Джеймс если когда и отваживался рассказать, то разве что чрезмерно распаленный гневом или хмелем. И вот в чем она заключалась: на другой день после свадьбы — и в присутствии нескольких друзей, пришедших с поздравлениями, — явилась мощная кормилица с парой упитанных малюток на руках; и эти розовые карапузы, при виде миссис Джеймс Ганн, потянулись к ней, нежно щебеча: «Maman! Maman!»¹ — на что новобрачная, залившись пунцовым румянцем, сказала: «Джеймс, эти две крошки — твои», — и бедный Джеймс едва не упал в обморок под тяжестью вдруг взваленного на него отцовства. «Дети! — простонал он в ужасе. — Чьи дети?» — на что миссис Крэб, величественно его перебив, объявила: «Эти малютки, дорогой мой Джеймс, — дочери благородного и храброго поручика Макарти, чью вдову вы вчера пред алтарем назвали своею женой. Будьте же счастливы с нею, а этим милым деткам, благослови их господь (слезы), я пожелаю найти в вас отца, который заменит им того, кто пал на поле славы!»

¹ Мама! Мама! (франц.)

Миссис Крэб, миссис Джеймс Ганн, миссис Лолли, майорша, миссис Пифлер и прочие присутствующие дамы — все тут же пустили слезы; и Джеймс Ганн, добрый и мягкосердечный человек, совсем опешил. Наспех поцеловав жену, он принес торжественную клятву, что будет печься о малютках, и попробовал поцеловать их тоже, но милые крошки отклонили ласку, громко заревев. С той минуты участь Ганна была решена; и в дальнейшем он так до конца и жил под башмаком у жены, да и у тещи, покуда та не померла. Надо сказать, хитроумный план утаить детей принадлежал миссис Крэб; и когда дочка невинно предлагала забрать или навестить близнецов, старуха строго указывала на неразумие таких затей: ведь это могло бы отпугнуть мистера Ганна от приманчивой ловушки брака, в которую тот (везет же иному!) давал себя завлечь.

Вскоре после свадьбы счастливая чета вернулась в Англию и обосновалась в Сити, в особняке на Темз-стрит, где и прожила вплоть до смерти Ганна-старшего, когда его сын, став главою «Торгового дома Ганн и Блаббери», покинул скучные окрестности Биллентсетского рынка и, поселившись в Патни, зажил здесь настоящим джентльменом: приличная обстановка, две-три спальни для гостей, отличный погреб и элегантный кабриолет — для поездок в город и обратно.

Миссис Ганн, понятное дело, обращалась с ним пренебрежительно, называла пьяным болваном и ругательски ругала всех собутыльников, каких он привозил с собою в Патни. Честный Джеймс покорно выслушивал ее, соглашался, а назавтра притаскивал парочку новых приятелей — похвастаться своим портвейном и распить с ними привычное число бутылок. Об эту пору жена родила ему дочь — Каролину Бранденбург Ганн, названную так по большому замку под Хэммерсмитом и некоей обиженной королеве, которая там проживала, когда девочка родилась на свет, и которой участливо покровительствовали миссис Джеймс Ганн и другие дамы общества. В те годы миссис Джеймс была действительно дамой и устраивала приемы по первейшему разряду.

К этому времени миссис Джеймс Ганн поместила двух близнецов Уэлсли Макарти — Розалинду Кленси и Изабеллу Финниган — в пансион для благородных девиц и сильно ворчала по поводу слишком высокой платы за обучение, которую раз в полгода приходилось вносить за них ее мужу; и хотя Джеймс оплачивал счета со свойственным ему благодушием, его супруга была теперь невысокого мнения о своих малютках. Они не могут ожидать, говорила она, никакого капитала от мистера Ганна, и ее удивляет, с чего это ее супругу вздумалось помещать их в такой дорогой

пансион, когда у него есть своя родная прелестная крошка, для которой он просто обязан копить все те деньги, какие может отложить.

Бабушка тоже души не чаяла в маленькой Каролине Бранденбург и обещала оставить милой крошке свои три тысячи фунтов, ибо именно так заведено на свете выказывать почтение к сему наиболее почитаемому предмету материальному процветанию. Кому в этой жизни достаются улыбки, и дружеские услуги, и приятные наследства? Богатым. И я, со своей стороны, очень хотел бы, чтобы кто-нибудь отказал мне хоть самую малость — ну, скажем, двадцать тысяч фунтов, — потому что я совершенно уверен, что тогда кто-нибудь другой тоже что-нибудь мне завещает и что я сойду в могилу обладателем капитала в круглую сотенку тысяч.

У маленькой Каролины была своя служанка, своя просторная и светлая детская, свой маленький экипаж для выезда, виды на бабушкины процентные бумаги и неоценимое сокровище — безраздельная любовь ее маменьки. Ганн тоже искренне ее любил — на свой лад; однако же он решил, что и падчерицы получают после его смерти щедрое наследство, но — о, если бы не это вечное НО!

Ганн и Блаббери, как читателю известно, вели торговлю гарным маслом. Их прибыли зависели от

подрядов на освещение многих улиц Лондона; а к этому времени вошел в употребление светильный газ. «Газета» объявила, что Ганн и Блаббери прекращают платежи; и я, как это ни печально, должен сообщить: Блаббери так дурно вел дело, так были расточительны оба компаньона и их супруги, что кредиторы фирмы получили после конкурса всего лишь четырнадцать с половиной пенсов за фунт.

Когда миссис Крэб слышала об этом страшном происшествии — миссис Крэб, которая три дня в неделю обедала у зятя, которой нипочем бы не открыли доступ в дом, если бы бедняга Джеймс не встал со своим благодушием между ней и ее задиристой дочерью, — миссис Крэб, говорю я, объявила Джеймса Ганна мошенником и негодяем, бесчестным и грубым пьянчугой и переписала свое завещание на девиц Макарти — Розалинду Кленси и Изабеллу Финнинган, не оставив бедной маленькой Каролине ни пенса. Половина из полутора тысяч фунтов, назначенных каждой из них, подлежала выплате по выходе замуж, вторая половина — после смерти миссис Джеймс Ганн, которая должна была пожизненно пользоваться процентами с нее. Так на этом свете мы возносимся и падаем так фортуна быстро машет крылами своими и внезапно заставляет нас вернуть полученные от нее дары (или, вернее, ссуды).

Как жили Ганн со своею семьей после постигшего их удара судьбы, я не знаю; но заметим: когда незадачливый купец обанкротился, он, пока идет конкурс и еще несколько месяцев после того, обычно сохраняет некие таинственные средства существования — обломки крушения его капитала, за которые ему удалось уцепиться и с их помощью держаться на поверхности. Пока он ютился в какой-то дыре в Ламбете, где жена так терзала беднягу, что ему оставалось только искать прибежища в кабаке, миссис Крэб умерла; таким образом, сто фунтов в год поступили в распоряжение миссис Ганн. Да еще пришли на помощь кое-кто из друзей Джеймса, полагавших, что в годы процветания он показал себя хорошим парнем: они сообща сняли дом, обставили и, поселив его там, заходили проведать его и утешить. Потом они стали навещать его реже; потом решили, что миссис Ганн страшный тиран и вдобавок дура; потом их жены, в свой черед, объявили ее невыносимой, а его — грязным, пьяницей, и мужа только покачивали головой и не могли не согласиться, что обвинение справедливо. Потом они и вовсе перестали навещать его; потому что так уж повелось на свете: многие из нас не чужды добрых побуждений, и мы при случае бываем щедры, а затем чужая нужда наскучит нам и начнет нас сердить своей назойливостью, — нас

прямо-таки злит, что желудок изо дня в день требует пищи, снова и снова, и голодное существование представляется нам бесстыдно неразумным. У Ганна, стало быть, была в то время жена благородная дама, были дети, дом с полной обстановкой и сотня в год доходу. Как же он должен был жить? Супруга Джеймса Ганна, эсквайра, не позволяла ему унизиться до того, чтобы взять место клерка; и Джеймс, из лентяев лентяй, был рад примириться «с таким ее решением и ждать, когда ему представится возможность заняться чем-нибудь более приличествующим джентльмену. Можно бы составить прелюбопытный список такого рода занятий, когда бы автор склонен был распространяться об этом предмете: занятий, при которых человек сохраняет жалкую претензию на принадлежность к благородному кругу и постоянно с упоением говорит о своем «положении в обществе» и внушает себе, что он и в самом деле зарабатывает свой хлеб.

Сколько их, дам из разорившихся семейств, снимают большие квартиры и пускают в комнаты жильцов! Не такими ли хозяйками содержатся бесчисленные «пансионы с избранным музыкальным обществом близ фешенебельных кварталов»? И не их ли мужья, достойные джентльмены, каждое утро выходят из такого

пансиона и направляются в Сити — или делают вид, что направляются туда — по некоему таинственному делу, которое они ведут? Время шло, и миссис Джеймс Ганн стала содержательницей меблированных комнат со столом (по ее выражению «приняла в семью двух-трех нахлебников»), а мистер Ганн завел таинственное «дело».

В 1835 году, когда начинается наш рассказ, в городе Маргете на невзрачной улочке стоял дом, где на двери, на блестящей медной дощечке, можно было прочесть имя мистера Ганна. Начищать каждое утро медную дощечку, равно как по возможности обслуживать мистера Ганна, его семью и его жильцов, вменялось в обязанность чумазой девчонке, их единственной прислуге; и поскольку дом стоял не слишком далеко от моря и, забравшись на крышу, вы могли в просвете между дымовыми трубами зреть пред собой сию великую стихию, миссис Ганн именовала пансион фешенебельным; и на ее рекламных картах значилось, что из дома открывается «прекрасный вид на море».

На зарешеченном окне приемной было написано крупными буквами слово «КОНТОРА»; здесь мистер Ганн и отправлял свою службу. Он очень изменился, бедняга, и смотрел приниженным. Два плаката, вывешенные за решетками окна, дают

мне право заключить, что он не почел для себя унижительным сделаться агентом компании «Имбирный лимонад, Лондон — Ямайка», а заодно и по распространению знаменитой смеси «Гастеровский Фариначо для младенцев, или Здоровая замена материнского молока»; черный, отсыревший, заплесневелый полуфунтовый пакет этой смеси неизменно стоял на одном конце каминной полки в конторе, тогда как другой ее конец занимала засиженная мухами бутылка лимонада. Больше ничто не указывало на то, что эта просторная комната в первом этаже была конторой, — если не считать громадной черной чернильницы с торчащим в ней тупым пером, на кончике которого толстой коркой насохли чернила: оно, как видно, месяцами вкушало покой.

Вы могли видеть, как в это помещение ежедневно, в два часа пополудни, employe² из соседней гостиницы приносит две кварты пива; и если случалось вам зайти в этот час, вас обдавало из «конторы» мощными парами и запахами обеда, и вы спотыкались на пороге о кучу побитых жестяных судков, раскрывших на вас свою пасть. Так этот верный оплот благородства обычай обедать в шесть часов — оказался сокрушен; и

² Официант (франц.).

отсюда читатель может заключить, что дом Ганна находился в состоянии духовного упадка.

Сам Ганн — несомненно. Бывало, когда дамы удалялись в гостиную (хоть и окнами во двор, она благодаря желтым тюлевым занавескам, гардинам, небольшому полированному роялю и альбому на столе еще имела достаточно респектабельный вид), Ганн оставался в конторе — вершить дела. Вершились они в присутствии друзей и обычно заключались в том, что из углового шкафа извлекалась бутылка джина, а то и *un litre*³ бренди, причем Ганн хитро подмигивал и приставлял толстый палец к красному лоснящемуся носу; если же миссис Г. уходила из дому, Джеймс выкладывал вдобавок целый набор трубок, вследствие чего эта комната и была пропитана неистребимым ароматом дешевого табака.

Сказать по правде, мистер Ганн с утра до ночи ровно ничего не делал. Это был теперь грузный лысый мужчина пятидесяти лет; по будням он ходил неряшливым франтом: шалевый жилет, эспаньолка на широком двойном подбородке, брыжи в табачных крошках, огромная булавка на груди и набор брелочков; он завел себе форменный флотский сюртук с большими перламутровыми

³ Здесь: литровую бутылку (франц.).

пуговицами и всегда носил через плечо громоздкую и гремучую подзорную трубу, с которой часами расхаживал по набережной или молу и смотрел на корабли, на купальные колясочки, на учениц женских школ, гулявших парами по эспланаде, и на все, за чем только можно наблюдать в подзорную трубу. Он знал всех, кто имел хоть какое-то отношение к почтовым каретам, ходившим из Дила в Дувр и обратно, и в течение дня непременно бывал свидетелем прибытия или отбытия не одной из них: перекинется словечком с конюхом насчет его «норовистой серой кобылы» и удостоит легким кивком «стрелка» (то есть форейтора), а почтаря поклоном; с ними он мог бесплатно отправить в город пакет, раза два ему случалось затащить к себе сэра Лети-Кувырк (почтенного возницу легкой четырехместной экстренной почтовой кареты), о чем он вам рассказывал, неизменно добавляя, что кое-кто из компании при этом изрядно нагрузился. Сам он не наведывался в большие гостиницы; зато знал о каждом, кто приехал туда или уехал; и был большим человеком в «Сумке Подмастерья» и в «Сороке и Кубке», где являлся председателем клуба; пел басовую партию в «Минхере Ван Данке», «Волке» и других хороших песнях и ездил на пароходе до Лондона и обратно так часто, как хотел, безвозмездно получая на борту «свой харч».

Таков он был, Джеймс Ганн. Иные, когда писали ему, именовали его «Джеймс Ганн, эсквайр».

Превратность судьбы и былой их блеск — об этом почтенный Ганн и вся его семья не уставали говорить; и следует отметить, что для людей известных наклонностей такого рода материальные, как их называют, беды вовсе не являются бедой, а напротив того — доподлинной удачей. Ганн, например, пока «Торговый дом Ганн и Блаббери» не прекратил своего существования, пил по преимуществу портвейн и бордо, ныне же вынужден был перейти на бренди и джин. А их он любил в сто раз больше, чем вино; да еще мог теперь рассуждать о винах и ставить себе в великую заслугу, что отказался от них. К тому же тогда, в дни процветания, ему как джентльмену было не к лицу заглядывать в кабаки, где теперь он был завсегдаем; зала таверны, песок на ее полу доставляли Ганну наивысшее удовольствие. Раньше он вынужден был проводить ежедневно долгие часы в темной, неудобной конторе на Тема-стрит; а Ганн терпеть не мог заниматься книгами и делами — разве что чужими. Вкусы у него были низменные: он любил кабацкие шутки, кабацкую компанию; а теперь, после разорения, его в упомянутых нами «Сумке Подмастерья» и в «Сороке» почитали отличным малым, настоящим джентльменом, тогда как в Патни он слыл среди

своих светских приятелей заурядным пошляком. Видно, иному так уж на роду написано — потерпеть крушение и только выиграть на том.

Да и Джули, или «миссис Г.», как чаще называл ее муж, тоже немало выгадала на своих потерях. Она самым беспардонным образом хвасталась теперь своими былыми знакомствами; послушать ее, так она была принята в лучших домах и состояла в родстве с доброй половиной высшей знати. Главным ее занятием стало глотать лекарства да чинить и лицевать свои платья. Она всегда питала пристрастие к дешевой роскоши, любила лотереи, и приглашения на чашку чая, и прогулки по набережной, где порхала вместе с дочками беззаботным мотыльком. Она не роняла своего сословного достоинства, не упускала случая напомнить своим нахлебникам, что она «из благородных», и очень грубо обращалась со служанкой Бекки и бедняжкой Карри, своею младшей дочкой.

Потому что прилив сменяется отливом, и теперь вся нежность материнского сердца изливалась на «барышень Уэлсли Макарти», как раньше, во дни процветания в Патни, изливалась на Каролину. Миссис Ганн чтит и любила своих старших дочерей, высокородных наследниц полутора тысяч фунтов, и презирала нищенку Каролину, равно презираемую (как Золушка в

самой чудесной из сказок) четой своих спесивых и бессердечных сестер. Это были рослые, статные, чернобровые девицы, беззастенчивые, бойкие, пышущие здоровьем и весельем. Каролина же — бледная и тоненькая, белокурая, с кроткими серыми глазами. Незаметная в своем затрапезном ситцевом платье, она никому не представлялась красавицей; тогда как две старшие сестры в пышном пестром муслине, в розовых шарфах и в искусственных цветах, в золоченых *ferronnieres*⁴ и прочих побрякушках, в кругу Ганнов были провозглашены настоящими леди, очень воспитанными и прелестными. У них были пунцовые щеки, белые плечи; лоснящиеся локоны громоздились в изобилии над их сияющими лбами, черные и скользкие, точно пиявки. Такие чары, сударыня моя, не могут не возыметь своего действия; и для Каролины было счастьем, что она не обладала ими, так как иначе она могла бы вырасти такую же тщеславной, легкомысленной и вульгарной, как эти девицы.

Покуда те всячески развлекались или сидели за чайным столом где-нибудь в гостях, обычным уделом Карри было оставаться дома и помогать служанке в бесчисленных работах, какие

⁴ Диадемах (франц.).

требовались в заведении миссис Ганн. Она помогала одеваться маменьке и сестрицам, подавала папеньке чай в постель, предьявляла счета нахлебникам, принимала на себя их брань, если это были дамы, и нередко подсобляла на кухне, когда нужно было что-нибудь испечь или состряпать в добавление к обычному меню. К двум часам ей полагалось приодеться к обеду, а в долгие вечера, покуда старшие девицы бренчали на рояле, мамаша возлежала на диване, а Ганн» посапывал над стаканом в своем кабаке, Карри занималась нескончаемой штопкой и починкой на всю семью. И впрямь, тяжелый жребий выпал тебе, бедняжка Каролина! После светлых дней твоего детства ни единого радостного часа — ни дружбы, ни веселых игр в кругу подруг, ни материнской любви; потому что, когда умерла материнская любовь, те родственные чувства со стороны остальных, которые она за собой влечет, тоже увяли и умерли. Во всей семье только Джеймс Ганн смотрел на дочь добрыми глазами и обращался к ней порой со словом грубоватой ласки. Каролина, однако, не жаловалась, не проливала бесконечных слез, не призывала смерть, как могло бы это быть, если бы она росла в более изысканном кругу. Бедная девушка не отдавала себе отчета, в каком положении она находится; она несла свое горе молча и терпеливо; ведь это было то же горе, какое

несут в нашем обществе тысячи и тысячи женщин, и чахнут от него, и умирают; оно слагается из нескончаемого мелкого тиранства, долгого пренебрежения и злобной надоедливой придирчивости, сносить его труднее, чем любые муки, из-за каких мы, представители сильного пола, готовы вопить: «Ai, sti!»⁵ В нашем общении со светом (проводимом с той сердечностью, какую нам являют в комедии сэра Гарри со своей супругой — двое крашенных умильных глупцов, твердящих фразы, выученные по книге), когда мы сидим и смотрим на улыбающихся актеров, мы время от времени бросаем взгляд за кулисы, — как же она жалка, открывающаяся при этом человеческая природа! Особенно в женщинах, которые тем более склонны к обману, что им больше надобно скрывать, так как они больше чувствуют, больше живут, нежели мы, мужчины, имеющие свое дало, свои удовольствия и честолюбивые устремления, уводящие нас из дому. Нам достаются на долю так называемые большие удары судьбы, им же — мелкие несчастья. Покуда мужчина размышляет, работает, сражается на стороне, домашние невзгоды падают на женщину; и эти маленькие горести так тяжки, настолько они злей и горше, чем большие,

⁵ Горе, горе! (греч.).

что я бы не поменялся своим положением — ничем не поменялся! — ни с Еленой Троянской, ни с королевою Елизаветой или миссис Кутс, ни с самой счастливой женщиной, какую знает история.

Вот так, описанным нами образом, и жило семейство Ганна. Мистеру Ганну жилось только лучше, благодаря его «несчастью», супруге его — лишь немногим хуже; две девицы значительно выгадали в новых обстоятельствах, переместивших их в то общество, где наследство в три тысячи фунтов делало их богатыми невестами; а бедная маленькая Каролина была нисколько не счастливей любого несчастливого создания на земле. Лучше остаться одной на свете, совсем без друзей, чем иметь притворных друзей и не встречать у них сочувствия; иметь близких, с которыми вас соединяет не родство, а труп родства, обязывая вас нести через всю вашу жизнь тяготы и путы этой бездушной, холодной близости.

Я не хочу сказать, что Каролине могла бы прийти в голову такая метафора или что она хоть подозревала, как омерзительны узы, которые вяжут ее с маменькой и сестрами. Она чувствовала, что ею помыкают и что она одинока; но это не делало ее завистливой, а только приниженной и угнетенной, порождало желание не столько противиться несправедливости, сколько терпеливо ее сносить. Она едва осмеливалась сама об этом подумать.

Унижения и тиранство заменяли ей воспитание и выработали в ней манеру поведения, удивительно мягкую и спокойную. Странно было видеть, что в такой семье выросла такая девушка; соседи отзывались о ней с пренебрежительным сочувствием: «Бедная дурочка, — говорили они, — она и мухи не обидит». Но для меня это вернейший признак благородства, если чернь смотрит на тебя вот так свысока.

Не надо думать, что старшие сестры, девицы на возрасте, никогда не получали предложения руки и сердца: получали, конечно, не раз; и не раз бывали пылко влюблены. Но ряд несчастных обстоятельств вынудил их остаться до сей поры в девичестве. Так, к Розалинде посватался некий адвокат; но, узнав, что она получит сразу после свадьбы не все полторы тысячи фунтов, а только семьсот пятьдесят, злодей безжалостно от нее отступился, не посмотрев на ее красоту. И еще был сражен ее чарами некий аптекарь; но урожденной Уэлсли Макарти было б не к лицу жить при магазине, и она выжидала чего-нибудь получше. Лейтенант Своббер, когда служил во флоте береговой охраны, два месяца квартировал у Ганнов; и если писем, долгих прогулок и пересудов на весь город достаточно, чтобы сладить брак, то брак между ним и Изабеллой должен был состояться. Все же Изабелла оставалась

незамужней; а лейтенант, став полковником в Испании, как видно, забыл и думать о ней. Она между тем нашла утешителя в лице веселого молодого виноторговца, который незадолго перед тем поселился в Брайтоне, держал кабриолет, выезжал на псовую охоту и был, по общему мнению, очень мил — настоящий джентльмен! И был еще некий французский маркиз с самыми изящными черными усиками — он запечатлел глубокий след на сердце Розалинды, повстречавшись с ней однажды в библиотеке, после чего по целому ряду самых удивительных случайностей каждый день попадался ей на пути, когда она прохаживалась с сестрой по молу.

Между тем кроткая маленькая Каролина, сколько ее ни затапывали, росла и расцветала. Бледненькая, худенькая, в веснушках и бедно одетая, она все же не лишена была прелести, которую иные предпочли бы дешевому блеску и грубой пунцово-белой красоте барышень Макарти. Мы как раз подошли к той поре ее жизни, когда Каролина, к удивлению маменьки и сестер и к полному удовольствию Джеймса Ганна, эсквайра, зажгла страсть в груди очень достойного молодого человека.

ГЛАВА II

Как миссис Ганн заполучила двух жильцов

Шел зимний сезон, когда произошли события, о которых рассказывает наша повесть; и так как в эту пору ни один из тысячи пансионеров Маргета не имеет постояльцев, миссис Ганн, обычно вынужденная в безрадостный этот сезон занимать сама и первый, и второй, и третий этажи своего заведения, посчитала себя необыкновенной счастливницей, когда стечение обстоятельств привело в ее дом не одного, а даже двух жильцов.

Появлением первого нахлебника она была обязана своим дочкам. Когда эти две девицы в один прекрасный день прохаживались по своей улице, вспоминая радости последнего сезона, и лотерею-аллегри, и вечеринки с пением при библиотеках, и упоительное веселье балов в Воксхолле, они попались на глаза и, как видно, приглянулись одному молодому джентльмену, который брел не спеша по улице.

Он поглядел на них, и, надо сказать, девицы тоже поглядели на него, сунулись головами друг дружке под шляпку, и захихикали, и сказали: «Боже!» и потом остановили на молодом джентльмене твердый взгляд. Глаза у них были

черные, щеки ярко-красные. Вообразите же, как забились сердца у мисс Беллы и мисс Линды, когда джентльмен, выпустив монокль из глаза, так-таки перешел на их тротуар и сказал:

— Милые дамы, мне нужно снять себе комнаты, и я был бы очень рад посмотреть те, что сдаются, как я вижу, в вашем доме.

«По какому волшебству он догадался, что это наш дом?» — подумали Белла и Линда (они всегда думали заодно). Да по тому простому признаку, что мисс Белла только что вставила ключ в дверной замок.

Как горько пожалела миссис Джеймс Ганн, что на ней не было ее лучшего платья, когда приезжий — приезжий в феврале месяце! — зашел в ее дом смотреть комнаты. Она, однако, постаралась возместить небрежность своего наряда достоинством осанки; спросила джентльмена, кто может его порекомендовать, объяснила ему, что сама она — благородная дама, так что в ее пансионе он будет располагать большими преимуществами; и в конце концов согласилась принять его в дом за двадцать шиллингов в неделю. Блестящие глазки молодых девиц помогли сладить дело; но миссис Джеймс Ганн по сей день убеждена, что только редкое достоинство ее манеры и бойкость похвальбы своими семейными связями привлекали в ее дом сотни жильцов, которые без нее никогда

бы сюда не наведались. — Джентльмены, — сказал в тот же вечер мистер Джеймс Ганн в «Сумке Подмастерья», — у нас новый жилец, и я ставлю всем по стакану — выпить за его здоровье. Новый жилец, ничем не примечательный, кроме очень черных глаз, изжелта-бледного лица да обыкновения до полудня валяться в постели, покуривая сигару, назвался Джорджем Брэндонем, эсквайром. Что касается его нрава и привычек, так на покорнейшую просьбу миссис Ганн заплатить вперед он рассмеялся и протянул ей банкнот; он никогда не вступал в спор по поводу ее счетов, много гулял и съедал по две бараньих отбивных *per diem*.^б Благородным девицам, всегда просматривавшим, как это в обычае у благородных девиц, все ящики и письма жильцов, не удалось обнаружить ни одного документа касательно их нового нахлебника, кроме счета из харчевни «Альбион», означенного именем Джорджа Брэндона, эсквайра. Все прочие бумаги, которые могли бы пролить свет на его биографию, хранились под хитрым запором в брамовской шкатулке, равным образом отмеченной инициалами Д. Б. И хотя всего этого маловато, чтобы судить о человеке, было в мистере Брэндоне нечто такое, что

^б В день (лат.).

позволило дамам в доме миссис Ганн дружно провозгласить его истинным джентльменом.

Я счастлив сообщить вам, что при таких обстоятельствах мисс Розалинда и мисс Изабелла имели обыкновение очень часто наведываться в апартаменты жильца, то неся забытую к завтраку салфетку, то со стыдливым румянцем подавая недельный счет — потому что, говорили они, извиняясь, мамы нет дома, и добавляли, что джентльмену, они надеются, «все пришлось по вкусу».

Обе мисс Уэлсли Макарти пользовались каждым случаем ивестить таким порядком мистера Брэндона, и тот принимал обеих с такой очаровательной свободой обращения, поистине джентльменской, разглядывая их с головы до пят по всем статьям и так серьезно останавливая на их лицах свои большие черные глаза, что девицы, ярко вспыхнув, отворачивались — в крайнем смущении и все же польщенные, а после вели о нем долгие разговоры.

— Боже мой, Белл, — скажет мисс Розалинда, — что за тип этот Брэндон! Мне он, право, ну совсем не нравится! — А уж большего комплимента мужчине женщина сделать не может.

— Мне тоже нисколечко, — ответит Белл. — Он смотрит так в упор и такие вещи говорит! Только что, когда Бекки принесла ему бумагу и

сургучи — глупая девчонка принесла и черный и красный, так я взяла их у нее, чтобы спросить, какой ему нужен, — и как вы думаете, что он сказал?

— Да, дорогая, что же? — вмешалась миссис Ганн.

— «Мисс Белл, — говорит он, глядя мне в лицо, — и какими глазами! — Я возьму оба: красный, потому что он, как ваши губки; и черный, потому что он, как ваши волосы; и еще атласную бумагу — потому что она, как ваша кожа!» Как любезно — как по-джентльменски!

— Подумать только! — воскликнула миссис Ганн.

— Нет, честное слово, по-моему, это грубо! — возмутилась мисс Линда. Если бы он сказал это мне, я бы дала ему пощечину за такую наглость! — И Линда десять минут спустя пошла к нему в комнату — проверить, посмеет ли он сказать и ей что-нибудь такое. Что сказал ей мистер Брэндон, я так и не узнал; но муки зависти, побудившей мисс Линду резко осадить сестру, уступили место приятному расположению духа, и она предоставила Белле говорить о новом нахлебнике, сколько ей будет угодно.

А теперь, если читателю не терпится узнать, что представлял собою мистер Брэндон, то пусть он прочтет его нижеследующее письмо. Оно

адресовано было не более и не менее, как некоему виконту; и с нарочитой небрежностью было отдано в руки Бекки, служанки, чтобы та снесла его на почту. Бекки же, перед тем как исполнять такие поручения, всегда показывала письма своей хозяйке или одной из барышень (не надо думать, что мисс Каролина была на этот счет хоть чуточку менее любопытна, чем ее сестры); и когда наши дамы увидели на конверте имя его сиятельства виконта Синкбарза, их почтение к жильцу еще возросло против прежнего.

«Маргет, февраль 1835 г.

Мой дорогой виконт!

По своей особой причине я, приехав в Маргет, со всей торжественностью объявил господам из «Белого Оленя», что моя фамилия — Брэндон, и до конца своего пребывания здесь намерен носить это почтенное прозвание. По той же причине (я не тщеславен и люблю творить добрые дела втайне) я немедленно выехал из гостиницы и живу теперь в домашнем пансионе, скромном и за скромную плату. Здесь я, слава богу, в одиночестве. Общества в этом Танете у меня не больше, чем было у Робинзона Крузо

на его острове. Зато я вволю сплю, ничего не делаю и много гуляю — молча, по берегу шумного моря, как жрец Аполлона Калхас.

Дело в том, что, покуда гнев моего папаша не улегся, я должен жить тихо и смиренно, и денег в моем распоряжении едва хватает даже на те небольшие расходы, какие мне приходится нести в этом месте, где много приезжих и в кредит ничего не получишь. Поэтому, если мои друзья в Лондоне и Оксфорде, такие, как мистер Снипсон, портной, мистер Джексон, сапожник, честный Соломонсон, учетчик векселей и прочие в том же роде, станут справляться обо мне, я попрошу Вас отвечать им, что я в настоящее время нахожусь в городе Мюнхене в Баварии и не вернусь оттуда, пока не обвенчаюсь с мисс Голдмор, богатой индийской наследницей, которая — поверьте слову джентльмена — только и ждет моего предложения.

Знаю, ни на чем другом мой почтенный отец не примирится, ибо должен Вам признаться, я и так уже выкачал немало денег из его кошелек, и старик дал великую и

нерушимую клятву не давать мне больше ни гроша, если этот брак не состоится. И он состоится непременно. Я не умею работать, не умею голодать и не умею жить меньше, чем на тысячу фунтов в год.

Здесь, конечно, расходы не так уж велики: прилагаю поданный мне недельный счет — читайте и просвещайтесь:

Джорджу Брэндону, эсквайру,
от миссис Джеймс Ганн
фунт. шилл. пенс.

Комната		за
неделю.....	1 0 0	
Завтраки, сливки, яйца.....		
0 9 0		
Обеды (14 бараньих отбивных).....	0 10 6	
Отопление, чистка башмаков и пр...	0 3 6	

2 фунта 3 шилл. 0 п.

Уплачено: Джулиана Ганн.

Джулиана Ганн! Ну не прелестное ли имя? Размахнулось на полстраницы. А поглядели бы Вы на его носительницу, друг мой! Я люблю во всех странах изучать обычаи туземцев, и, честное слово, есть

варвары в нашей родной стране, менее знакомые нам и больше заслуживающие знакомства, чем готтентоты, дикие ирландцы, отахейтяне и другие подобные дикари. И до чего же она важничает, эта дама! Если бы Вы только видели ее румяна, ленты, кольца и прочую женскую мишуру; если бы послушали, как она пускается в воспоминания о былых временах, когда они с мистером Ганном «вращались в самых благородных кругах»; о пэрах Англии, которых она знает всех наперечет; и о модных романах, каждое слово которых она принимает на веру, — о, Вы бы возгордились Вашим титулом и умилились бы глубоким почтением, какое выказывает к нему *la canaille*.⁷ Эта баба заткнет за пояс всех старых сплетниц — даже нашего наставника в Крайст-Черче.

При ней имеется супруг — мистер Ганн: толстый, оплывший старик в сюртуке грубого сукна. Он как-то встретился со мной и спросил, осклабясь, по вкусу ли мне мои бараньи котлетки?

⁷ Сброд, чернь (франц.).

Еще насмехается, подлец! А что я могу есть в таком месте, кроме бараньих котлет? Толстенный, сочащийся кровью бифштекс или мерзкое подгорелое gigot a l'eau⁸ с подливой из репы? Да я от них умру на месте. Что касается рыбы, так в приморских городах я к ней и не притрагиваюсь: тут она наверняка дрянная. И не люблю домашнюю птицу, тощую, жилистую мелкоту — не цыплята, а сплошной обман. Остаются одни котлеты; мне их довольно прилично жарит состоящая при семье тихая, маленькая компаньонка (о боги, компаньонка при такой семье!), которая густо покраснела, признавшись, что блюдо приготовлено ею и что зовут ее Каролиной. В смысле питья я снизошел до джина, выпиваю его две рюмки в день, разбавляя в двух стаканах холодной воды; это единственное, что можно пить в простом английском доме с

⁸ Тушеный бараний или козий окорок (франц.).